

Николай Лесков

Павлин



Николай Лесков
Павлин

«Public Domain»

1874

Лесков Н. С.

Павлин / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1874

Содержание

I	7
II	9
III	12
IV	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Николай Лесков

Павлин

Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок: откуда бы ни приплыл сюда далекий посетитель и как бы ни велико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия, – говорю *огромного*, потому что остров поистине прекрасен и грандиозные картины его восхитительны. На Валааме за обычай всякий паломник подчиняется *послушанию*: он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревания здесь не рассчитано; но, однако, мне, в сообществе трех мужчин и двух дам, удалось обойти в одну ночь весь остров и запечатлеть навсегда в памяти дивную картину, которую представляют при бледном полусвете летней северной ночи дикие скалы, темные урочища и тихие скиты русского Афона. Особенно хороши эти скиты, с их непробудною тишью, и из них особенно поражает скит Предтечи на островке Серничане. Здесь живут пустынники, для которых суровость общей валаамской жизни кажется недостаточною: они удаляются в Предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампы люди, умершие миру, но неустанно молящиеся за мир: здесь вечный пост, молчанье и молитва.

Не зная направления валаамских тропинок, мы подошли к проливу, отделяющему островок Серничан от главного острова, и, пленясь густыми папоротниками, которыми заросла здешняя котловина, сели отдохнуть и заговорили о людях, избравших это глухое уединение местом для своей молитвенной и созерцательной жизни.

– Какие это люди, с какими силами и с каким прошлым приходят они сюда, чтоб погребсти себя здесь заживо? – воскликнул один из наших собеседников. – Я никак не могу иначе думать, что это должны быть какие-то титаны и богатыри духа.

– Да; и вы правы, – отвечал другой, – это богатыри, но только богатыри, мощные нищетою. Это зерна, которые уже *прозябли* и пошли в рост.

– А пока они прозябли?

Собеседник улыбнулся и ответил:

– Пока они прозябли... они лежали при дорогах, глохли под тернием и погибали, как вы, и я, и целый свет, пока ветер схватил их и бросил на добрую почву.

– Вы говорите так, как будто вы знали кого-нибудь из людей, имевших силу погребсти себя заживо в этих дебрях.

– Да, мне кажется, что я действительно знал такого человека.

– Он был умен?

– Да.

– И рассудителен?

– Гм!.. да. А впрочем, я о нем судить не берусь, но я его любил и очень уважаю его память.

– А он уже умер?

– Да.

– Здесь?

– Неподалеку, – ответил, снова тихо улыбаясь, собеседник.

– Жизнь такого человека всегда способна возбуждать во мне большой интерес.

– И во мне, и во мне тоже, – подхватили другие.

Дамы интересовались еще более мужчин, и одна из них, красивая блондинка с черными глазами, обратясь к этому нашему попутчику, сказала:

– Знаете ли, что вы сделали бы нам чрезвычайно большое одолжение, если бы здесь же, в тиши этой дебри, где мы так неожиданно очутились, рассказали нам историю известного вам отшельника.

Другая дама и все мы присоединились к этой просьбе – и тот, к кому она относилась, согласился ее исполнить и начал:

I

Назад тому лет двадцать, когда я был школяром и ходил в одну из петербургских гимназий, мы с покойницей моей матушкой и ее сестрою, а моею теткой Ольгой Петровной, жили в доме моей другой богатой тетки по отцу. Хотя этой последней теперь уже нет в живых, но я все-таки не выдам ее настоящего имени и назову ее Анной Львовной. Дом ее стоит и теперь на том же месте, на котором стоял; но только тогда он был известен как один из больших на всей улице, а нынче он там один из меньших. Громадные новейшие постройки его задавили, и на него никто более не указывает, как было в то время, с которого начинается моя история.

Начав свой рассказ не с людей, а с дома, я уже должен быть последователен и рассказать вам, что это был за дом; а он был дом страшный – и страшный во многих отношениях. Он был каменный, трехэтажный и с тремя дворами, уходившими один за другой внутрь, и обстроенный со всех сторон ровными трехэтажными корпусами. Вид его был мрачный, серый, почти тюремный. Впечатление, производимое им, было самое тягостное. Дом этот составлял часть приданого моей тетки, когда она выходила замуж за своего не совсем далекого родственника, очень много обещавшего в свое время, блестящего светского молодого человека, который, впрочем, кончил тем, что необыкновенно проворно спустил все незначительное свое и значительное женино состояние и протянул руки к остаткам ее приданого, то есть к этому дому. Такое поползновение муж моей тетки обнаружил в Париже, где супруги в то время жили и где Анна Львовна думала, что она блистает красотой и может удивить ею весь свет – если бы только на глазах у этого света не мелькала какая-то дама полусвета, с которою борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь сей последней была до того баснословна, что самые солидные дамы интересовались: откуда все это берется у этой куртизанки? Интересовалась, вероятно, этим и моя тетушка Анна Львовна и получила от своего мужа в ответ, что завидное положение проходимки зависит от щедрости какого-то разбогатевшего в индийской компании англичанина; но вскоре оказалось, что все это вздор и что богач-англичанин был не кто иной, как сам супруг моей тетушки, самым неосмотрительным образом распорядившийся ее состоянием в пользу этой темной звезды. Увлечение его зашло так далеко, что у них не осталось ничего, кроме петербургского дома, о котором я говорю. Узнав об этом, тетка Анна Львовна побесновалась, порыдала, а потом взялась за ум и проявила не только большую силу характера, но даже и порядочную долю жестокосердия: она уничтожила формальным порядком свои доверенности на имя мужа – и, бросив его в Париже на жертву кредиторам, укатила назад в Россию и поселилась в своем доме. Дом этот давал изрядный доход, так что тетка могла без нужды жить этими средствами и воспитывать сына Вольдемара, или, по-домашнему, Додю. Мужу она ничего не посылала и никогда о нем не говорила: так он где-то пропадал и, наконец, совсем пропал за границу в полной безвестности. Одни говорили, что он умер где-то в долговой тюрьме; другие уверяли, что служил в должности крупье в каком-то игорном доме. Но это для нас все равно. Тетка Анна Львовна к тому времени, когда я ее узнал, была женщина лет сорока пяти; она еще сохраняла следы довольно замечательной, хотя самой неприятной, сухой и жесткой красоты, составляющей принадлежность женщины русского бомонда. Анна Львовна жила в своем доме, занимая половину прекрасного бельэтажа. Это было большое помещение, которое давало тетушке возможность жить как должно большой даме, притом даме строгой и солидной, какую она слыла у огромного числа посещавших ее высокопоставленных людей. Она любила немножко рисоваться своим положением, жаловалась при случае на свою беззащитность и ограниченность вдовьих средств – и превосходно обделывала свои дела. Благодаря ее связям и ловкости воспитание сына ей ничего не стоило, она кроме того каким-то образом исходатайствовала себе очень порядочную субсидию за «беспримерное несча-

стие», а доходы с дома копила. Анна Львовна была женщина очень расчетливая и, по правде сказать, весьма бессердечная, что вы, я думаю, можете отчасти заключить из ее поступка с мужем, которому она никогда не простила его вины и не помогла ему в его бедственном положении ни одним грошом. В доме тетки все ее боялись и трепетали: я это знал отлично, потому что, живучи в одном из флигелей ее дома, я мог наблюдать, как на нее смотрели люди. У тетки не было управляющего: она сама заведовала домом и была госпожою строгайшею и немилосерднейшею. У нее был порядок, что все жильцы должны были платить ей за квартиры за месяц вперед, и если кто не платил один день, тому сейчас же выставляли окна, а через два дня вышвыривали жильца вон. Льготы и снисхождения не оказывалось никому, и их никто из жильцов не пытался добиться, потому что все знали, что это было бы напрасно. Тетка правила мудро: она сама была для жильцов никогда не видима, и к ней никого из них не допускали ни под каким предлогом, – она только отдавала приказания, и немилостивые приказания эти приводились в исполнение. Говорили, что в исполнении этих приказаний никогда не допускалось ни малейшей поблажки, но тетка все-таки находила, что исполнители ее воли действовали еще довольно слабо, и переменила многих из них, пока не нашла, наконец, одного, который вполне удовлетворял ее немилосердной строгости. Этот замечательный человек был швейцар Павлин Петров, по фамилии Певунов, или попросту, как его звали, *Павлин*. Рекомендую этого человека особенному вашему вниманию, потому что, несмотря на его скромное положение, он будет героем начатого вам рассказа. По этому же самому я и опишу его вам несколько поподробнее и расскажу, как мы лично имели удовольствие познакомиться с этим антиком в пестрой ливрее.

II

Когда мы с матушкою поселились в маленькой квартирке одного из флигелей второго двора теткиного дома, Павлин Певунов уже лет шесть состоял у нее в должности швейцара и считался преданнейшим ей человеком и, что называется, ее правою рукою. Насчет безграничного доверия Анны Львовны к Павлину и еще более насчет того, что он жил у нее бессменно много лет, тогда как до него никто из людей у нее не уживался, по дому ходили даже разные нелепые толки, основанные на самых глупых выводах и более всего на том, что Павлин, по мнению многих, был красавец. Опишу вам наружность Павлина в ту пору его жизни, как я его зазнал. Ему в то время было лет с небольшим за сорок, он был мужчина высокий, плотный и очень стройный; светлый блондин, с большими, очень приятными серыми глазами, прекрасным умным лбом, замечательною строгостию в лице и достоинством в движениях и во всей его в глаза бросающейся многозначительной позитуре. Можно держать какое угодно пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее Павлина. Я думаю, что он был бы еще важнее в какой-нибудь другой, более важной, не швейцарской ливрее; но, однако, и этот пестрый убор шел к нему чрезвычайно. В расшитом галунами длинном ярко-синем сюртуке с капюшоном, в широкой, убранной галуном перевязи, в трехугольной шляпе и с блестящею вызолоченною булавою в руках. Павлин был настоящий *павлин*, и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной Юноною из Аргуса. По этой представительности Павлин мог бы получить место швейцара в любом из клубов или при каком-нибудь из самых блестящих посольств, но Павлин за этим не гнался и служил в довольно скромном и буржуазном доме моей тетки. Сюда он поступил на первое место в Петербурге, а менять места было не в его правилах. Павлин у тетушки содержался не в особой холе и, по обычаю буржуазных домов, нес на себе несколько обязанностей. Павлин был тетушкин Аргус: при его содействии она могла знать все, что только желала. Он, кажется, видел весь дом сквозь его каменные стены и знал, что делается в самых сокровенных его закоулках, – и это для всех было тем удивительнее, что Павлин не имел во всем доме ни с кем из прислуги никаких сношений. Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру – самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлин жил в небольшой, но очень чисто им содержимой комнате, скрытой за колоннадою просторного парадного антре, где на небольшом возвышении между двух колонн стоял его трон, старинное черное кресло с медным драконом на высокой спинке. С тех пор, как Павлин поселился в своей комнате, у него не был никто из посторонних людей, и никому не было известно, что там у него за убранство? Два выходившие на улицу окна клетки Павлина были всегда задернуты чистою кисеею, на них стояли горшки с цветами – и если кому доводилось заглянуть в эти окна вечером, когда комната освещалась изнутри горевшею перед образом лампадою, то тот мог только видеть верх очень чистых, густою голубою краскою выкрашенных стен и ширмы, а более ничего невозможно было рассмотреть. Комната постоянно была заперта, и ключ от ее маленькой двери всегда был у Павлина в кармане. Досужих людей, которые под тем или другим предлогом пытались проникнуть в покой Павлина, он не допускал до этого самым решительным и бесцеремонным образом, так что его, наконец, все оставили, и никто в гости к нему не порывался. Что так тщательно хранил Павлин в своей вечно запертой комнате, – этого никто не мог отгадать, а так как нельзя же было оставить этого без объяснения, то учредившийся в доме наблюдательный комитет за Павлином открыл, что он тоже чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока, – поэтому комитет объявил, что Павлин «молокан». Это всем очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчет личности Павлина настолько, что все почил в спокойной уверенности, что Павлин

гордец по религии. Как во всяком вздоре есть своя доля истины, так было и здесь: Павлин действительно был заносчив и горд и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою никого из служащих людей. Оно и было понятно: он был поставлен с ними в одну среду, но не имел с ними ничего общего ни по уму, ни по характеру. Прошлого его было мало известно: были слухи, что он из крепостных людей, служил камердинером у какого-то важного лица и лет пять тому назад откупился на волю, взнеся своему господину чуть ли не тысячу рублей серебром за одну свою гордую и суровую душу; но этим слухам не совсем доверяли. Гораздо охотнее верили чьей-то выдумке, что Павлин ограбил почту, убил шесть почтальонов и потом добыл себе фальшивую бумагу, с которою и живет в швейцарах, храня в своей запертой каморке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, и это, разумеется, рассказывали только стороною; сам же Павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он проводил однообразно и рассчитанно, как часы: рано утром он появлялся в антре, мел его и потом скрывался в свою комнату, где пил чай или кофе из какого-то особого самоварчика, которого устройство и способ кипячения оставался для всех секретом и предметом неразъяснимого любопытства. Затем Павлин выходил в одной ливрее на лестницу и отправлялся к тетушке; тут у них шел доклад или беседа, по поводу которой никто ничего достоверного не знал и все сплетничали невероятный, невозможный вздор. Беседа длилась около часа, и после нее Павлин снова появлялся на лестнице, но уже не с пустыми руками, а с домовою книгою, которую клал на столе под клеенку, надевал перевязь, брал в руки булаву и отпирал двери подъезда. Совершив эту церемонию, он садился в широкое, обитое красным сафьяном кресло и начинал просматривать домовую книгу, делая из нее карандашом отметки в особую тетрадку. Этим делом Павлин занимался до десяти. С последним ударом десятого часа он ставил к колонне булаву, сменял треугольную шляпу обшитою галуном фуражкою и в этой полуформе выходил через ворота на двор; мимоходом он молча ударял рукою в дворницкую дверь, и когда оттуда на этот знак тотчас же выскакивали два рослые парня, один с топором, другой с молотком и клещами, и оба ему низко кланялись, он отвечал им на их приветствие молчаливым поклоном и шел далее. Дворники, вооруженные топором и клещами, следовали за ним молча и в почтительном отдалении. Павлин направлял свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая перед ним на руке квартирная книга.

Я вам едва ли сумею передать хоть слабую тень того, что такое производило на всех в доме это утреннее шествие Павлина по дому в сопровождении двух следовавших за ним ликторов. Из всех окон длинных флигелей внутреннего двора, занимаемых бедными жильцами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры; нередко вслед ему слышались бранные слова и ядовитые насмешки, еще чаще проклятия и слезные вопли; Павлин не обращал ни на что на это никакого внимания. Он совершал свое течение, как планета в ряду расчисленных светил по закону своего вращения, и не удостоивал никаких заявлений ни гнева, ни сожаления. Шествие это выражает, что Павлин идет собирать ежемесячную плату с бедных жильцов drobных квартир, на которые тетушка переделала все внутренние флигеля – в том основательном расчете, что drobные квартиры всегда более, чем крупные, потому что они занимают людьми бедными, которых всегда более, чем богатых, и которые не претендуют ни на вкус, ни даже на чистоту. А почему это шествие Павлина представлялось столь внушительным и возбуждало столько ужаса, мы сейчас увидим, если последуем за ним на одну из узких темных лестниц, по которым он взбирается в сопровождении своих ассистентов. Вот он останавливается у известного ему номера и звонит у двери; ему не скоро отворяют, но он терпелив и не докучает; он слышит, как там шушукаются, бегают, что-то прячут и плачут – и все стоит, а потом звонит во второй раз, не особенно сильно, но так внушительно, что более не отпираться нельзя, и двери нехотя отпираются. Павлин снимает фуражку и спокойно входит в них со своею книгою, а сопровождающие его люди между тем ждут его на террасе. Если он минуты через три

выходит назад, то вы непременно видите, что он кладет что-то за широкий обшлаг своей пестрой ливреи. Это он прячет хозяйские деньги и идет далее, в другую квартиру, для которой сегодняшний день есть тоже день очередной расплаты за месяц вперед. Дворники опять следуют за ним по пятам с топором и клещами и ждут его *распоряжений*. Все ждут этих распоряжений, и все молят бога, чтобы их не последовало. Но что же это за распоряжения?.. А вот что: вот Павлин, выйдя из одной квартиры, ничего за свой обшлаг не спрятал, а только кивнул головою, и сейчас же в одном из окон этой квартиры появляются две головы Павлиновых спутников; топор и клещи работают с неописанною быстротою и ловкостью, рама исчезает – и в обезрамленное окно несется женский крик и детский плач, а Павлин течет далее, и течение его опять где-нибудь выражается исчезающею из окна рамою... И опять крик и плач, и в пустые окна вырывается клубом незащищенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бедность напрасно силится удержать и сберечь вывешиваемыми на рычагах и щетках лохмотьями...

Чем далее в глубь дворов и чем выше этажи по лестницам, тем эти в содрогание приводящие распоряжения Павлина повторяются чаще. Я хотел было сказать «и тем решительнее», но у Павлина ничего никогда не было мало решительно.

Обойдя все двери, в которые ему надлежало в этот день постучаться, он тек обратным течением, а дворники за ним несли выставленные рамы, которые Павлин собственной рукою запирает в особый чулан у себя под лестницею и затем спокойно садился в свое высокое кресло с бронзовым драконом на спинке и начинал читать *Пчелку* и другие газеты, которые получались в доме, проходя непременно предварительно через Павлиновы руки. Это чтение, по-видимому, очень его интересовало, и он занимался им во все свои свободные минуты. Просмотрев газеты и потом уже раздав их подписчикам, Павлин брался за чтение книг, преимущественно или даже исключительно переводных французских романов, которых, впрочем, он по гордости своей ни у кого не выпрашивал, а абонировался на них в библиотеке.

За этим занятием, кроме посетителей, которым Павлин должен был оказать то или другое содействие по должности швейцара, его за этим же занятием заставляли другие посетители – это те жильцы, квартиры которых он подвергнул утру усиленной вентиляции через вынутые рамы.

Если неисправный жилец приносил деньги, Павлин молча брал их, отмечал в книге и дергал звонок, на который являлись дворники и, вынеся из чулана молча указанную им раму, отправлялись ее вставить. Если же жилец или жилица являлись с жалобою, пенями или просьбою льготы, то опять молчание, звонок, дворники – и проситель выводился, не услышав в ответ на свои жалобы ни одного слова.

Так исполнял свою службу моей тетке ее знаменитый Павлин, с которым потом с самим судьба сыграла не менее знаменитую штуку, чем все разыгранные им с жильцами теткина дома.

III

Мы с матушкой и ее сестрою Ольгой Петровной, занимавшеюся при нездоровье татап моим воспитанием, имели в доме Анны Львовны небольшую квартирку по одной из лестниц второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру, и не могу сказать, как бы с нами было поступлено, если бы мы хотя один раз не сделали за нее своего взноса в срочное время. Вероятно, что, не щадя своего запропавшего мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и к его сестре, а моей матери, которая бог весть почему заблагорассудила жить в доме своей золовки, где нас на первом же шагу встретила памятная неприятность, при которой мы в первый раз познакомились с Павлином. Мы перебирались в тетушкин дом в самый рождественский сочельник. День был морозный и, по обыкновению в это время года в Петербурге, очень короткий, так что когда возы с нашею небогатою мебелью въехали на двор, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, а мы с тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анны Львовны, расхаживали по пустой квартире; но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла в свою квартиру, чтобы распорядиться, где ставить вещи. По ее словам, Анна Львовна сама посоветовала ей прийти для этого, и она пришла и сказала людям: «Вносите», но люди только переглянулись, а из-за плеч их вырос Павлин и за ним два его адъютанта с известными инструментами.

– Что тебе, батюшка, угодно? – спросила татап.

– Деньги пожалуйста за месяц, – отвечал Павлин, разворачивая перед татап свою книгу.

– Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утром пришло, – отвечала татап с родственною короткостию, отстраняя от себя рукою и книгу и Павлина и подзывая своих слуг; но слуги не трогались, а Павлин едва заметно улыбнулся и отвечал, что он до завтра не может ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непременно сию же минуту.

Матап сочла это за невежливость: она так обиделась, что побледнела.

Павлин это заметил, и это ему, очевидно, было неприятно: он насупил брови и с некоторою нервною нетерпеливостью в голосе проговорил:

– Сударыня! Здесь такой порядок.

– Прекрасно, что у тебя такой порядок, но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить... – Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.

Павлин ответил ей на ее последнее замечание:

– Могу-с.

– Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя?..

– Знаю-с.

– А знаешь, так что... так чего же тебе?..

– Деньги-с... я без того не могу позволить вносить ваших вещей.

– Как не можешь позволить? Но неужто же вещам стоять ночь на дворе, и нам на полу спать?

– И вам не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчас велю выставить окна, – отвечал Павлин и, опять сделав нетерпеливое движение бровями, добавил: – У нас такой порядок.

Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говор и смятение. Павлин стоял с книгою в передней и не обращал ни на что это никакого внимания.

– Но это смешно, – воскликнула татап, – я сейчас виделась с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра... Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги. Но... но что за глупость! Я вовсе не хочу с тобой и рассуждать, – добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне.

– Это будет напрасно-с, – сухо ответил Павлин.

– Ну, уж это не твое, батюшка, дело.

И она, взволнованная, накинула на себя платок и пошла к хозяйке, меж тем как Павлин, не покидая своего поста, сделал незаметный для нас знак своим ассистентам – и через минуту, к немалому нашему удивлению, из комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянул пронизывающий холод. Я, занимавшийся до сих пор рассматриванием пестрого убранства Павлина, оглянулся и увидел, что дворники несли в руках по одной внутренней раме, а в то же время с другой стороны появилась тамап и, вся дрожа от холода и негодования, сказала по-французски:

– Представь, Ольга, какова эта Анна Львовна? Вообрази: она меня не приняла!

Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала.

– Это ужасно! – отвечала тамап. – Я уверена, что она дома, потому что нет четверти часа, как мы расстались; но мне сказали, что она уехала ко всенощной. Как она может быть у всенощной, когда здесь, в ее доме, так оскорбляют родню ее мужа? Уедем отсюда: пусть всё бросают на дворе, но я не хочу здесь жить, и моя нога более не будет в этом доме! Одевайся и уедем куда-нибудь в гостиницу. Я не могу одной минуты видеть этого негодяя!

Отпустив этот последний комплимент по адресу Павлина, моя нервная тамап начала порывисто надевать на меня мое теплое платье. Между прислугою смятение еще более усиливалось; дворники, с вынутыми рамами в руках, тихонько пересмеивались; извозчики внизу кричали и шумели, ропща, что их долго не отпускают; по квартире расползался через выставленные рамы холод. Павлин стоял в своей строгой позитуре, и на лице его не было заметно ни малейшего беспокойства. Как ни странно может показаться вам мое сравнение, но он мне сразу напомнил тогда собою Гете, величавую и до холодности спокойную фигуру которого я знал по гравюрке, вклеенной в моей детской книжке. Павлина как будто вовсе не трогали мелкие страдания людей: он имел в виду одну какую-то общую гармонию того, что совершал и видел.

Но, помимо этих моих наблюдений, я не знаю, чем бы все это смешное и досадное замешательство с нами кончилось; вероятно, нас бы прогнали, если бы в дело не вмешалась тетя Ольга. Она отвела тамап немножко в сторону и, говоря с нею по-французски, успела ее убедить, что дело от каприза ничего не выиграет и что мы почтенной Анне Львовне ничего не докажем, потому что она уже, вероятно, видела всякие доказательства в этом роде и ни одним из них не переубедилась.

– Но я уверена, что это не она, а этот грубиян, – молвила, смягчаясь, тамап.

– А я уверена, напротив, что это именно *она*, а не «этот», как ты его называешь, «грубиян». Он мне кажется очень хорошим и честным человеком, потому что он точно исполняет то, что обязан исполнить; я это уважаю и ценю, – отвечала Ольга.

– Но что же нам делать? Это смешно: у меня недостает денег, я забыла их взять...

– Мы их достанем и заплатим.

– Где? Теперь банк закрыт, на дворе вечер, а у нас нет никого из знакомых (мы тогда только переселились в Петербург из провинции). Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить.

– Нет, не у нее, – молвила тетя Ольга и с этим, подойдя к Павлину, сняла со своей руки два бриллиантовые кольца и спросила: – Не можете ли вы взять от нас это до послезавтра в залог? Послезавтра мы возьмем деньги и выкупим.

– Сударыня, я должен сейчас представить госпоже деньги, – отвечал Павлин с глубоким уважением к Ольге.

Отвечая ей на вопрос, он точно благодарил ее интонацией своего голоса за то, что она о нем сказала тамап.

– Ну, пошлите заложить эти вещи в какую-нибудь лавку.

Павлин подумал – и, моргнув одному из своих дворников, велел ему исполнить требование Ольги, заложив ее кольца у какого-то известного ему лавочника, имя которого им названо было и потом для обстоятельности еще раз повторено.

Пока посланный дворник возвратился с деньгами, которых принес более, чем нам на этот случай было нужно, Павлин молча помогал другому вставить вынутые у нас рамы – и, получив, что ему следовало, за квартиру, вежливо поклонился и вышел.

Тетка Ольга, обладавшая не только большим смыслом и добротой, но и превосходным веселым характером и остроумием, тотчас же по уходе Павлина начала очень забавно трунить над нашим минувшим затруднением и привела в самое веселое расположение не только татап и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиков, которые, внося каждую вещь снизу в комнаты, не упускали случая отпускать разные остроты насчет Анны Львовны, величая ее чертовкой, и ведьмой, и другими лестными названиями.

Через час у нас вся мебель была поставлена на место, мелкие вещи более или менее были убраны, и квартира приведена в возможный порядок; а еще через другой час, который мы с матушкой и теткою провели во всеобщей, мы застали нашу квартиру уже теплою и встретили праздник на своих чистых постелях. Через день кольца тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но без решимости оставаться здесь долго, после встретивших нас на первых же шагах неприятностей. Матап говорила, что мы здесь не останемся более месяца, а если она ранее найдет удобную квартиру, то мы переедем отсюда и ранее. Ей никто не противоречил, но другой удобной квартиры, к крайней досаде татап, не находилось, а та, в которой мы теперь жили, была тепла, суха и как нельзя более для нас удобна. К тому же суровый дом тетки Анны Львовны, благодаря царившему в нем строгому духу Павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что тетка Ольга указывала татап и мало-помалу убедила ее не горячиться и не переезжать отсюда до лета.

– Мы ее этим не накажем, – говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну, – а только себе наделаем хлопот и убытков. Стоит ли она этого?

Матушка мало-помалу согласилась, что Анна Львовна этого не стоит, и решила остаться еще на месяц, но только с тем, чтобы «грубиян», то есть Павлин, не возмущал ее спокойствия и никогда не показывался к нам в квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить – и под тот день, когда нам предстоял второй месячный платеж, она сама занесла деньги в швейцарскую и вручила их Павлину.

С Анной Львовной не виделись ни татап, ни тетка Ольга, в отношениях которой к Анне Львовне я, при всей моей тогдашней неопытности, замечал неодолимое отвращение. Мы жили совершенно как чужие и вовсе не знакомые хозяйке люди, и это нас нимало не тяготило, – ее это тоже, вероятно, не очень смущало. Мы видели из своих окон, как Павлин от времени до времени совершал свои роковые обходы по дому за сбором денег; после чего то в одной, то в другой квартире открывались прорехи; но это нас непосредственно не касалось, и мы к этому скоро привыкли и даже стали понемножку подсмеиваться. Что делать? Такова сила «чудовища-привычки». Мы смеялись не над горем вымораживаемых жильцов, а над тем способом, как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый Павлин с физиономиею и позитурою Гете, эти дворники с инструментами, напоминающие распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена, и это быстрое выставление и вставление окон и полное равнодушие всех к этому самоуправству – все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое. К нам Павлин не появлялся, потому что в конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его появление, лично занеся ему деньги в его швейцарскую накануне срока; точно так же опять накануне заплатила она и на четвертый месяц, и такой порядок у нас установился, и благодаря ему мы продолжали жить в своей хорошей и удобной квартире, вовсе позабыв, что дом этот принадлежит Анне Львовне, по милости которой мы так оригинально встретили канун рождества. Мы вспоми-

нали о ней, впрочем, когда видели из своих окон огни в ее парадных комнатах, но вспоминали так, мимоходом, равнодушно: «вот-де у нее гости» или что-нибудь подобное. Что же касается до Павлина, то я и сам не знаю, как это случилось, что имя его, бывши у нас долгое время под запретом, вдруг начало произноситься не только без раздражения и злобы, но даже с чем-то похожим на уважение.

IV

Если установившееся у нас доброе мнение о Павлине могло ему на что-нибудь пригодиться, то он обязан был за это тетке Ольге, к которой он при всякой встрече относился с бесконечной аттенцией и сам обрел у нее себе благоволение. Матушка шутя смеялась над тетей Ольгой, что она совершила Даниилово чудо над зверем, поработив себе Павлина, но в этой шутке была своя доля истины: Павлин благоговел перед теткой, хотя к чести его надо сказать, что он, однако, и это благоговение выражал с полным сохранением своего неприступного достоинства. Он только кланялся ей гораздо ниже, чем прочим, и уступал ей дорогу почтительнее, чем самой Анне Львовне, которую он, по наблюдениям тетки Ольги, терпеть не мог и презирал. На чем она основывала эти свои выводы и заключения, никогда не говоря с Павлином, я не знаю, но в выводах этих чувствовалась правда. Из этого вы видите, что у нас почему-то постоянно занимались Павлином: он заинтересовал нас собою, не исключая даже и меня, засматривавшегося на его пеструю ливрею, и тамап, начавшую симпатизировать ему за подмеченное в нем теткой Ольгой презрение к Анне Львовне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.